

1.0

По семейному преданию, дедушка Фергусона пешком ушел из своего родного Минска с сотней рублей, зашитыми в подкладку пиджака, двинулся на запад к Гамбургу через Варшаву и Берлин, а затем взял билет на пароход под названием «Императрица Китая», который пересек Атлантику по суровым зимним штормам и вошел в гавань Нью-Йорка в первый день двадцатого века. Дождаясь собеседования с иммиграционным чиновником на острове Эллис, он разговорился с собратом, тоже русским евреем. Тот ему сказал: *Забудь ты эту фамилию — Резников. Прокру тут от нее никакого. Для новой жизни в Америке тебе американская фамилия нужна, чтоб славно по-американски звучала.* Поскольку английский для Исаака Резникова в 1900 году все еще был чужим языком, он попросил совета у своего земляка постарше и поопытней. *Скажи им, что ты Рокфеллер,* ответил тот. *Уж с этим-то не промахнешься.* Прошел час, за ним еще час, и когда девятнадцатилетний Резников сел перед иммиграционным чиновником, он уже забыл, какое имя ему посоветовали. *Фамилия?* — спросил чиновник. Разочарованно хлопнув себя по лбу, усталый иммигрант выпалил на идише: *Ik hob fargessen (Я забыл)!* Так и получилось, что Исаак Резников начал свою новую жизнь в Америке как Ихабод Фергусон.

Было трудно, особенно поначалу, но даже потом, когда оно уже перестало быть началом, ничего не получалось так, как он воображал себе о жизни в приютившей его стране. Правда, жену-то ему найти удалось, после двадцать шестого дня рождения, как правда и то, что его жена Фанни, урожденная Гроссман, родила ему троих крепких и здоровых сыновей, но жизнь в Америке оставалась для дедушки Фергусона борьбой с того самого дня, когда он сошел с парохода, до ночи 7 марта 1923 года, когда его настигла ранняя, безвременная кончина в возрасте сорока двух лет: его подстрелили при ограблении

склада кожаных изделий в Чикаго, где он работал ночным сторожем.

Фотографий его не сохранилось, но по всем воспоминаниям, был он мужчиной крепким, с сильной спиной и громадными ручищами, необразованный, неквалифицированный, классический новичок-неумеха. В первый свой день в Нью-Йорке он наткнулся на уличного торговца, толкавшего самые красные, самые круглые, самые совершенные яблоки, какие он в жизни видел. Не в силах противостоять, он купил одно и жадно впился в него зубами. Но вместо ожидаемой сладости вкус оказался горьким и незнакомым. Хуже того, яблоко было тошнотворно мягким, и, как только зубы его пронзили кожицу, все внутренности фрукта выплеснулись ему на пиджак ливнем бледно-красной жидкости, полной десятков дробинок-семян. Таков был его первый вкус Нового Света — его первое достопамятное знакомство с джерсейским помидором.

Не Рокфеллер, стало быть, а широкоплечий работяга, еврейский исполин с нелепым именем и парой беспокойных ног — он пытал счастья в Манхаттане и Бруклине, в Балтиморе и Чарльстоне, в Дулуте и Чикаго, занимался то портовым грузчиком, то младшим матросом на танкер в Великих озерах, то убирал за зверями в бродячем цирке, то работал на конвейере консервной фабрики, то водил грузовик, то копал канавы, то сторожил по ночам. За все свои потуги он получал считанные гроши да мелочь, а стало быть, жене и троем сыновьям бедный Аик Фергусон завещал лишь истории, какие рассказывал им о своих скитаниях юности. Если брать по крупному счету, истории, наверное, так же ценны, как деньги, а вот если по мелкому — имеются у них бесспорные ограничения.

Кожевенная компания выплатила Фанни маленькую компенсацию по утере кормильца, после чего она с мальчиками уехала из Чикаго — в Ньюарк, Нью-Джерси, по приглашению мужниной родни, которая выделила ей квартиру на верхнем этаже своего дома в Центральном районе за номинальную месячную плату. Сыновьям ее исполнилось четырнадцать, двенадцать и девять. Луис, самый старший, давно уже стал Лью. Аарон, средний, из-за переизбытка драк на школьном дворе в Чикаго приспособился называть себя Арнольдом, а девя-

тилетнего Станли все звали Сынок. Чтобы сводить концы с концами, их мать взялась за стирку и починку одежды, но совсем скоро мальчики тоже стали вносить свою лепту в семейные финансы: каждый после уроков работал, каждый все вырученные пенни отдавал матери. Времена стояли тяжелые, и угроза нищеты наполняла комнаты их квартиры густым, слепящим туманом. От страха было не спастись, и постепенно мальчики впитали мрачные онтологические выводы своей матери о смысле жизни. Работай — или голодай. Работай — или потеряешь кров над головой. Работай — или умрешь. Для Фергусонов малодушного понятия Все-За-Одного-И-Один-За-Всех не существовало. В их мирке Все-За-Всех — или ничего.

Фергусону и двух лет еще не исполнилось, когда бабушка умерла, а потому сознательных воспоминаний о ней он не сохранил, но, по семейному преданию, Фанни женщиной была трудной и непредсказуемой — ни с того ни с сего принималась орать или одержимо и безудержно рыдать, мальчишек своих лупила шваброй, когда те себя плохо вели, а в кое-какие местные лавки хода ей не было потому, что она громогласно торговалась. Никто не знал, где она родилась, поговаривали, что в Нью-Йорке она очутилась четырнадцатилетней сиротой и несколько лет после схода на берег провела на чердаке без окон в Нижнем Ист-Сайде, где шила шляпки. О своих родителях отец Фергусона Станли заговаривал с сыном редко, а на вопросы мальчика отвечал кратче и невнятнее некуда, очень осторожно, и все данные, какие юному Фергусону удавалось почерпнуть о прародителях по отцовской линии, почти целиком поступали от его матери Розы, которая была на много лет младше двух остальных невесток Фергусонов из второго поколения, а сама получила почти все сведения от Милли, жены Лью, — женщины, склонной посплетничать: та вышла замуж за человека гораздо менее скрытного и гораздо более разговорчивого, нежели Станли или Арнольд. Когда Фергусону исполнилось восемнадцать, мать пересказала ему одну историю Милли, представив ее не более чем слухом, ничем не подтвержденным домыслом, который мог оказаться правдой — а мог, опять же, и нет. Если верить тому, что Лью рассказывал Милли — или же Милли утверждала, будто он

ей рассказывал, — имелся еще и четвертый ребенок Фергусон, девочка, родившаяся через три или четыре года после Станли, в то время, когда семья поселилась в Дулуте и Айк искал работу младшего матроса на судне с Великих озер: семья в тот период крайне бедствовала, и потому, что Айка не было дома, когда Фанни родила девочку, и потому, что дело происходило в Миннесоте, вдобавок еще и зимой, особенно суровой зимой в особенно холодном месте, а дом, где они жили, отапливался лишь одной дровяной печуркой, а денег тогда было так мало, что Фанни и мальчикам есть доводилось всего раз в день, — от мысли о том, что придется заботиться еще об одном ребенке, ей стало до того жутко, что она утопила свою новорожденную дочурку в ванне.

Пусть Станли и рассказывал сыну о своих родителях мало, о себе он тоже не слишком распространялся. Оттого у Фергусона плохо получалось ясно и наглядно представлять себе, каким его отец был в детстве — или в ранней юности, или в молодости, или еще когда бы то ни было, пока тот через два месяца после того, как ему исполнилось тридцать, не женился на Розе. Из мимолетных замечаний, какие иногда слетали с отцовых уст, Фергусону, однако, удалось выяснить вот что: Станли частенько дразнили его старшие братья, помыкали им, а сам он, поскольку был младше всех, а потому меньше всех в детстве прожил с живым отцом, сильнее всех привязался к Фанни, учился он прилежно и, спору нет, был из всех братьев лучшим спортсменом, в футбольной команде играл крайним, а в легкоатлетической, в Центральной средней школе, бегал четверть мили, дар к электронике привел его к тому, что летом после окончания школы в 1932-м он открыл лавочку по ремонту радиоприемников (*дыра в стене на Академия-стрит в Ньюарке*, как сам он выражался, *чуть больше кабинки для чистки обуви*), правый глаз ему в одиннадцать лет повредило ручкой швабры, когда мать как-то раз принялась неистово ею размахивать (он чуть не потерял зрение совсем, отчего в армию во время Второй мировой его не взяли по форме 4-Ф), кличку «Сынок» он терпеть не мог и отказался от нее, как только убрался из школы, любил танцевать и играть в теннис, никогда слова дурного не говорил о своих братьях, как бы глупо или отвратительно те к нему

ни относились, в детстве после уроков разносил газеты, все-речь подумывал изучать право, но отказался от этого замысла из-за недостатка средств, после двадцати лет слыл дамским угодником и ухаживал за ордами молодых евреек, ни на одной не намереваясь жениться, в тридцатые годы несколько раз наезжал на Кубу, когда Гавана была столицей греха всего Западного полушария, а величайшим честолюбивым его замыслом в жизни было стать миллионером, человеком богатым, как Рокфеллер.

И Лью, и Арнольд женились, когда обоим едва перевалило за двадцать, оба стремились вырваться из полоумного дома Фанни как можно скорее, сбежать от вопящей самодержицы, правившей всеми Фергусонами после отцовской смерти в 1923 году, но у Станли, еще совсем юнца, когда братья сбежали, выбора не было, и он остался. В конце концов, он едва-едва закончил среднюю школу, но затем годы шли, один за другим, и так — одиннадцать лет, а он никуда не девался, необъяснимо так жил и дальше в той же квартире на верхнем этаже вместе с Фанни, всю Депрессию и первую половину войны, вероятно — застрял по инерции или из лени, быть может, из чувства долга или виноватости перед матерью, а то и из-за всего сразу, отчего ему совсем не удавалось вообразить, как он станет жить где-то еще. И Лью, и Арнольд завели собственных детей, а Станли, судя по всему, вполне довольствовался вольной охотой, почти всю свою энергию тратил на то, чтобы из мелкого своего предприятия сделать предприятие побольше, поскольку же он не выказывал ни малейшей склонности жениться, даже сильно перевалив за двадцать и уже порхая к тридцатнику, возникало как-то мало сомнений, что холостяком он останется на всю жизнь. И тут, в октябре 1943 года, не прошло и недели после того, как американская Пятая армия отбила у немцев Неаполь, посреди того периода надежд на то, что война склоняется, наконец, в пользу союзников, Станли на свидании вслепую в Нью-Йорке познакомился с Розой Адлер двадцати одного года, и очарование пожизненного холостячества постигла быстрая и необратимая кончина.

Так прелестна была она, мать Фергусона, так пригожа своими серо-зелеными глазами и длинными каштановыми

волосами, так порывиста и чутка, так скоро на улыбку, так восхитительно сложена во всех своих пяти футах шести дюймов роста, какие достались ее персоне, что Станли, впервые пожав ей руку, отрешенный и обычно такой обособленный Станли, Станли двадцати девяти лет, кого прежде никогда еще не сжигало пламя любви, ощутил, как перед Розой он распадается на части, словно из легких его высосали весь воздух и он никогда уже не сможет дышать.

Она тоже была ребенком иммигрантов — отца, уроженца Варшавы, и матери-одесситки, оба приехали в Америку, не исполнилось им и трех лет. Адлеры, стало быть, больше ассимилировались, чем Фергусоны, и в голосах родителей Розы никогда не слышалось ни малейшего следа иностранного акцента. Выросли они в Детройте и Гудзоне, штат Нью-Йорк, а идиш, польский и русский их родителей уступили место беглому, богатому английскому; отец же Станли до самой смерти своей старался овладеть вторым языком, а мать даже теперь, в 1943-м, почти через полвека после отрыва от восточноевропейских корней, читала «Джуиш Дейли Форвард», а не американские газеты и изъяснялась на странном разномастном языке, какой сыновья ее называли «англишем», — едва ли вразумительном патуа, в котором идиш и английский сочетались почти в каждой фразе, вылетавшей у нее из уст. То была единственная существенная разница между предками Розы и Станли, но гораздо важнее того, насколько хорошо или плохо их родители приспособились к жизни в Америке, был вопрос удачи. Родителям и прародителям Розы удалось избежать тех жестоких поворотов судьбы, какие выпали на долю Фергусонов, и в их истории не было никаких убийств при ограблении складов, никакой нищеты на грани голода и отчаяния, никаких утопленных в ваннах младенцев. Детройтский дедушка был портным, гудзонский дедушка — цирюльником, и хотя резать ткань или волосы — не те занятия, что могли бы вывести на путь богатства и мирского успеха, они предоставляли достаточно постоянный доход, чтобы на столе всегда имелась еда, а на детях — одежда.

Отец Розы Бенджамин, также известный как Бен или Бенджи, уехал из Детройта на следующий день после того, как в 1911 году закончил школу, и направился в Нью-Йорк,

где дальний родственник нашел ему работу продавца в центральном магазине одежды, но юный Адлер через две недели бросил эту работу, зная, что судьбе его не угодно, чтобы он тратил свою краткую жизнь на земле на продажу мужских носков и исподнего, и тридцать два года спустя, побыв разъездным торговцем бытовых чистящих средств, распространителем граммофонных пластинок, солдатом в Первой мировой, поторговав автомобилями, повладев на паях стоянкой подержанных машин в Бруклине, на жизнь он зарабатывал как один из трех миноритарных партнеров манхаттанской фирмы недвижимости — дохода хватило, чтобы в 1941 году перевезти семью с Краун-Хайтс в Бруклине в дом на Западной Пятдесят восьмой улице, за полгода до того, как Америка вступила в войну.

Согласно тому, что рассказывали Розе, родители ее познакомились на воскресном пикнике на севере штата Нью-Йорк, неподалеку от материна дома в Гудзоне, и, не прошло и полгода (в ноябре 1919-го), эти двое поженились. Как Роза впоследствии признавалась сыну, брак этот ее всегда озадачивал, поскольку никогда не доводилось ей видеть двух менее совместимых друг с другом людей, чем ее родители, и то, что союз этот выдержал более четырех десятков лет, несомненно, было одной из величайших загадок в истории человеческого супружества. Бенджи Адлер был треплом и всезнайкой, прожженным авантюристом с сотней планов по карманам, хохмачом, никогда не упустил своего и всегда перетягивал одеяло на себя — и вот он на воскресном пикнике где-то в глуши штата Нью-Йорк запал на робкую и застенчивую Эмму Бромовиц, кругленькую, грудастую девушку двадцати трех лет, кожа бледнее не бывает, копна пышных рыжих волос, такую девственную, такую неопытную, такую викторианскую по манерам, что стоило лишь взглянуть на нее, как сам собой напрашивался вывод, что уст ее ни разу в жизни не касались мужские губы. Непостижимо было, что они поженятся, — все знаки предсказывали, что они будут обречены на жизнь, полную распрей и непонимания, — но они поженились, и хотя хранить супружескую верность Эмме после рождения их дочерей (Мильдред в 1920-м, Роза в 1922-м) Бенджи было трудновато, в сердце своем он за нее держался, а она, вновь

и вновь им обманутая, так и не сумела заставить себя обратиться против него.

Роза обожала старшую сестру, но нельзя сказать, что верно было и обратное: перворожденная Мильдред естественно приняла свое богоданное право принцессы этого дома, и мелкую соперницу, вдруг явившуюся на сцену, следовало учить — если необходимо, снова и снова, — что есть лишь один трон в квартире Адлеров на Франклин-авеню, один трон и одна принцесса, и любые попытки этот трон узурпировать будут встречены объявлением войны. Не то чтоб Мильдред держалась в открытую враждебно с Розой, но милости ее отмерялись чайными ложками — не больше такого-то количества доброты в минуту, час или месяц, — и неизменно предоставлялись с оттенком высокомерного снисхождения, как и подобает персоне ее царственного чина. Холодная и осмотрительная Мильдред; душевная и слащавая Роза. Когда девочкам исполнилось двенадцать и десять, уже стало ясно, что ум у Мильдред исключительный, ее успехи в учебе — результат не только прилежания, но и превосходной интеллектуальной одаренности, и, хотя Роза тоже была вполне сообразительна и зарабатывала вполне достойные отметки, в сравнении с сестрой она всегда была посредственностью. Не понимая толком своих мотивов, ни разу сознательно об этом не задумавшись и не составив никакого плана, Роза постепенно перестала тягаться с сестрой на условиях Мильдред, поскольку инстинктивно понимала: если подражать сестре, у нее ничего не выйдет, а потому, если хочется какого-то счастья в жизни, ей придется пойти другим путем.

Решение она обрела в работе — в попытках обрести свое место тем, что сама будет себя кормить, и как только ей исполнилось четырнадцать и стало можно официально трудиться, она устроилась на свою первую службу, которая быстро привела к череде других, и уже к шестнадцати годам Роза днем трудилась на полной ставке, а по вечерам училась в старших классах. Пускай Мильдред запирается в келье своего уставленного книгами ума, пусть плывет себе в колледж и читает все, что написали за последние две тысячи лет, а Роза желает настоящего мира, Роза этому миру принадлежит — суете и гаму нью-йоркских улиц, ощущенью того, что стоишь

за себя и сама всего в жизни добиваешься. Как отважные, сметливые героини в фильмах, которые она ходила смотреть и два, и три раза в неделю: нескончаемый отряд студийных картин, где в главных ролях снимались Клодетта Кольбер, Барбара Станвик, Джинджер Роджерс, Джоанна Блонделл, Розалинда Рассел и Джина Артур, — она примеряла на себя роль юной, решительной девушки-карьеристки и срасталась с нею так, словно жила в собственной кинокартине, «Истории Розы Адлер», в этом длинном, бесконечно запутанном кино, у какого еще и первая катушка не закончилась, а в грядущем оно обещало нечто великое.

Когда в октябре 1943-го Роза познакомилась со Станли, она уже два года проработала у фотографа-портретиста Эмануэля Шнейдермана, чье ателье располагалось на Западной Двадцать седьмой улице около Шестой авеню. Начала Роза как администратор-секретарь-бухгалтер, но, когда в июне 1942-го фотоассистент Шнейдермана ушел в армию, Роза его заменила. Старику Шнейдерману уже было далеко за шестьдесят — немецкий еврей, иммигрировавший в Нью-Йорк с женой и двумя сыновьями после Первой мировой войны, угрюмый человек, подверженный приступам сварливости и попросту оскорбительного сквернословия, — но к красоте Розе в нем постепенно развилась ворчливая нежность, и, поскольку он осознал, до чего внимательно наблюдала она, как он работает, в свои первые дни у него в ателье, то решил сделать ее своим подмастерьем-ассистенткой и научить всему, что сам знал о фотоаппаратах, освещении и проявке — всему искусству и ремеслу своего дела. У Розы, которая прежде никогда толком не понимала, к чему стремится, и работала в разных конторах только за плату и мало еще почему, иными словами — без какой-либо надежды или внутреннего удовлетворения, — ощущение возникло такое, словно она вдруг наткнулась на призвание — не просто на очередную работу, а на новый способ быть на белом свете: вглядываться в чужие лица, каждый день все новые, каждое утро и вечер иные, каждое отлично от всех прочих лиц, — и, не успела Роза оглянуться, как поняла, что любит эту работу: смотреть на других, — и что она никогда от этого не устанет, просто не сможет.